

ФАКЕЛ В НОЧИ

РАССКАЗ

Е. ПАРНОВ, М. ЕМЦЕВ

Рассказ писателей Еремея Парнова и Михаила Емцева «Факел в ночи» написан на основе реальных фактов «культурной революции» в КНР. Судьба изображенного авторами профессора Во Ди-миня — типичная и, к сожалению, далеко не самая страшная судьба человека в сегодняшнем Китае. Можно было бы привести тысячи документально подтвержденных случаев куда более кошмарных преступлений маоистов. Но в истории Во Ди-миня отражена картина той мрачной ночи, в которую ввергла Китай клика Мао.

В О ДИ-МИНЬ стоял с непокрытой головой у подъезда исторического факультета. Впрочем, отныне факультет следовало именовать антиимпериалистическим и антиревизионистским. Но профессор Во не думал сейчас об этом. Равнодушно глядел он на пламя, пульсирующее, как человеческое сердце. Редкие холодные капли падали на его лысеющую голову и юркими струйками сбегали за воротник. Дверь за спиной все время хлопала. Как плохо пригнанный клапан. Как клапан, пропускающий к огненному сердцу живительную струю. Аккуратно связанные бумажным шпегатом стопки книг летели в костер. Иногда про-

фессор узнавал переплеты. Прислушивался к треску и гулу огня. Уже только по слуху узнавал, как воспламеняется переплет. Старинная рисовая бумага и тонкий шелк горели деликатно. Почти бесшумно. И пепел от них получался ажурным и легким, сероватым, как листья ивы.

Зеленые муравьи разоряли муравейник. Они обтекали Во Ди-миня двумя непрерывными ручейками. Он стоял почти в центре большого, постоянно движущегося круга. Живая система: библиотека — огонь. Зеленые муравьи несли книги, другие зеленые муравьи шли за книгами. Он тоже был зеленым муравьем, только стоял в стороне. Стоял и смотрел. Бесстрастно и отрешенно. И было что-то во взгляде его от Будды.

Двери за его спиной растворили настежь и закрепили. Они уже не хлопали. И это сразу же сказало на огненном сердце. Кровь поступала теперь равномерно. Пламя выглядело почти неподвижным. Оно лишь чуть вздрагивало и раздувалось, когда вбирало в себя очередной импульс мудрости прошедших эпох.

Горели династия Сун и династия Тан. И тишина стояла в ушах, и немота заливала горло.

«Тогда лишь недавно закончились тяжкие войны. Наш бедный народ изнемог от лишений и зла. Я только и думал о муках, о горе народа, еще не изведав за это гонений и бед»¹.

И гонения и беды изведал он. Оцепеневшего и замороженного они втащили его на грузовик. Дурный колпак. Доска на шее. Как насосавшиеся крови привяки, горят иероглифы.

На него нисходила перемежающаяся глухота. И тогда казалось, что все это происходит где-то на дне моря. Но вдруг в ушах что-то больно стреляло. И начинала плыть голова от внезапного шума и рева.

Он закрывает глаза. И сразу же усиливается головокружение. Нарастает тошнота. Горячая липкая слюна переполняет рот. Грузовик медленно тащится по запруженным улицам. Часто останавливается, подолгу стоит и вдруг резко трогает, чтобы через несколько метров опять остановиться. Трудно удержаться на ногах. Невыразимо трудно. И совсем нельзя с закрытыми глазами.

И вновь зеленое море кепок и полувоенных тужурок. Повязки охранников, ленты с золотыми иероглифами на груди, матерчатые розетки в петлицах.

Гнев живого непогрешимого божества швырнул его сюда. Беспощадный спокойный гнев. Холодный истерический гнев.

¹ Во Цзюй-и (712—846 годы) — великий китайский поэт Танской эпохи.

Уйти бы от этого в себя, не слышать, не видеть... Но его бьют умело и больно. Это изощренность веков, утонченность знания. Наверное, очень трудно научиться бить так умело.

Они сжигают прошлое, а это оно научило их так бить. Корчатся книги в огне. И с открытыми и с закрытыми глазами он видит, как корчатся книги в огне. Бумага съеживается и чернеет прямо в мозгу. Том за томом, связка за связкой.

Эту книгу он написал десять лет назад. Ее долго держали в издательстве. Потом вдруг напечатали. Быстро. В несколько дней. Неведомо почему. Было это сразу же после провала «большого скачка». Далекий, забытый мир. Но лишь чуть приоткрыть глаза, и он ворвется в череп.

Стоит только поджечь прошлое, и ты увидишь костер впереди. Время неразрывно. Оно безжалостно мстит.

...А тогда только приступали к постройке Великой стены. Защита и изоляция. Угроза и постоянный страх. Тогдашний непогрешимый, Цинь Ши-хуанди, тоже сжигал книги. Он повелел бросить в костер всю литературу. Оставил только труды по военному делу и сельскому хозяйству. Без них нельзя было обойтись. Без всего остального — можно, без них — нельзя. Еще гадательные книги он пощадил. Видно, чувствовал холодок темного сумасшествия под сердцем. Зов судьбы, трубный глас предназначения. Неестественность. Неустойчивость. Непонятная игра недобрых сил, требующих огня и крови. Все больше крови и все больше огня. Их нельзя задавать, нельзя касаться, даже виду подать нельзя, что знаешь, как они вертят тобой. Поэтому Цинь пощадил гадательные книги.

Куда везут они его на сумасшедшем грузовике? Изгаженном, заплеванном, размазанном красной и белой краской.

Дацзыбао! О, дацзыбао! Если так будет еще двадцать лет, то никто не сумеет прочесть их. Все одичает, опустится на дно, на низшие круги существования.

...Его привезли в авиационный институт. Там находился штаб одного из самых оголтелых отрядов красных охранников. Связали руки над головой и толкнули в темную кладовку. Он упал на какую-то металлическую рухлядь. Пронзительная молния ударила в колено. Он задохнулся от боли. Потом отлежался. Перевернулся, подтянул колени и сел.

Остаток дня и всю ночь он провел в темноте. Горло пересохло, и губы потрескались. Сильно хотелось пить. Но голода он не чувствовал. Давешнее оцепенение все еще не отпускало его. События последних месяцев вдруг удивительным образом оказались спрессованными в одни бессонные сутки. Не жди дня и ночи, без продолжительности. Не жди добра, когда истерия вырывается на улицы. Логика, право, целесообразность — все тонет в фиолетовой пене, срывающейся с оставшихся губ. Действительность подменяется мифом, осторожность — маниакальной подозрительностью.

Есть! Сорвалось с упряжи... Понеслось, полетело с безумным хохотом. Слепые выпученные бельма, полопавшиеся малиновыми узорами капилляров. Ах, все это уже было. Это уже столько раз было! И никому не приносило добра. Только долгий мучительный стыд потом. Тяжелое и бессильное похмелье потомков, отцы которых опились дурной ханжой?

Как все чудовищно повторяется! И будто бы никто ничего не помнит. Сжигается прошлое, сразу же

за спиной. Спешу, торопись — оно опалает тебе за тылок!

На исходе второго дня ему принесли плоскую лопшу из гороха маш. Длинные и скользкие прозрачно-серые нити были чуть сдобрены соей. Но он прежде всего потянулся губами к кружке с холодным чаем. Принесший еду студент рассмеялся и развязал ему руки. Уходя, студент задел ногой кружку. Почти все вылилось. Пришлось собирать губами с пола. Капли чая стали мохнатыми от пыли. Крохотные круглые мышки. Занемевшие руки покалывала горячая кровь. Запястья еще только начинали болеть. В глазах все стоял пыльный свет, просочившийся в дверь вместе со студентом, принесшим лопшу.

В кладовке, которая, как потом выяснилось, раньше была препараторской при физическом кабинете, Во Ди-минь провел ровно шесть суток. У него были часы, и в те редкие мгновения, когда кто-нибудь отпирал дверь, он следил за временем. Но чередования дня и ночи для него не существовало. Вот почему он удивился, когда увидел солнце в окне. Он думал, что сейчас должна быть ночь. Его вели тогда на первый допрос. Впрочем, на допрос это мало походило.

Втолкнули в комнату, где раньше находился комсомол. Она была полна юношами и девушками с повязками охранников. Оглушили проклятиями и визгом. Силой усадили на стул, зачехотили связали руки, на этот раз за спиной. Он сидел и ожидал. Но на него перестали обращать внимание.

Про него, казалось, забыли. Около двух часов хором читали изречения из пунцовых книжек. Потом пели эти цитаты на мотив «Алеет Восток». Истериически выкрикивали славословия «самому, самому красному солнцу» и яростно аплодировали себе.

И только уже экзальтированные и ослепленные, набросились на него. Вновь привязали на шею позорный плакат. Облили цветной тушью. Кружились в дявольском хороводе. Плевались сквозь оскаленные зубы. Захлебывались от счастья. Но не били. Не били.

Он не знал, на какие вопросы отвечать. Только беспомощно вертел головой от одного юнца к другому. Но от него и не ждали ответов. Вопросы перемежались с проклятиями, длинные цитаты — с испуганным славословием. Точно близился конец мира. Точно мучатся обреченные люди, которым нет уже дела ни до других, ни до себя.

— Тебя ничтожная горстка предателей, которые хотят поставить Китай на капиталистический путь, уполномочила написать мерзкую черную книгу «Изоляционизм как атрибут политики императоров династии Инь»?

У человека, который спросил его о книге, была яркая скрипучая портупея и пистолет в такой же сверкающей кобуре. Может быть, поэтому профессор решил, что имеет дело с офицером, высшим офицером.

— Нет, — сказал он. — Нет. Меня никто не уполномочивал. Я историк и писал об истории. Я писал о том, что было больше двух тысячелетий назад.

— Твоя писанина нужна только черной банде! Желкой кучке заговорщиков, которых культурная революция сметет прочь, словно метель — вредных мух! Она не только вредна, но и непонятна народу! Наш народ все равно ее не поймет!

Во Ди-минь опять ушел в себя. Пока военный выкрикивал проклятия, он опять подумал о том, что все удивительно повторяется. И дикая демагогия, и обязательная ссылка на народ.

Даже Цинь Ши-хуанди, который закапывал интел-

² Ханжа — китайский самогон с резким запахом.

лигентов заживо в землю, не был оригинален. До него был философ по имени Мо, который выдвинул лозунг «Все для народа». Он тоже попытался уничтожить науку и искусство, поскольку считал, что они непонятны народу. А он очень любил свой народ, любил и оберегал от всего чужого и непонятного. Его последователь Шан Ян расплывчатый термин «народ» заменил суровым солдатским словом «государство». Во имя государства он решил разрушить все остальные архаические институты. И прежде всего семью. С самого начала он решил разрушить семью. Семейные связи — это всего лишь предрасудок, нелепое препятствие к абсолютной верности государю. Все для государства! Остальное — поборы, остальное — в огонь. «Человек в руках правительства — дерево в руках ремесленника», — сказал в своем трактате мудрый Хань Фэй.

Это безусловно понятно народу, близко ему, любезно его деревянному сердцу. Человек — всего лишь винтик огромной государственной машины.

— Ты должен публично отречься от черной банды, от своих подлых измышлений, от всей своей собачьей клеветы. Только тогда тебя можно будет послать на перевоспитание, где из тебя, может быть, сумеют сделать человека... А пока отправляйся чистить нужники!

Охранники подхватили его, развязали, потащили к ближайшей уборной. Они вручили ему зубную щетку и велели вычистить все до блеска.

А он думал, что и такое уже было однажды — и не так уж давно оно было...

Спина сделалась каменной, а он все ползал на корточках, то и дело подымался к раковине, чтобы отмыть щетку.

Перед ним прокручивали заезженную, но, тем не менее, достаточно грустную пластинку. Оставалось лишь покорно слушать, думать про себя, что все это уже было во времена оны, и стараться сохранить спокойствие. Недаром профессор за утренней чашкой ароматного чая с засахаренными семенами лотоса любил прочесть несколько страниц «Трактата о спокойствии». Это всегда помогало. Предохраняло от случайностей дня, уберегало от внезапных волнений.

Кто-то ударил его носком ботинка по руке и выбил зубную щетку. Все так же, сидя на корточках, он робко поднял голову вверх. Над ним высился тот самый офицер с кобурой и портупеей.

— Мы повезем тебя сейчас на митинг. Ты покажешься там во всех своих преступлениях и черных замыслах против нашего великого вождя.

— Но я не совершал никаких преступлений! — Он попытался подняться. — У меня и в мыслях не было...

Офицер плюнул ему в лицо. Повернулся и пошел прочь.

— Сейчас за тобой придут, — сказал он на ходу, не оборачиваясь. — Придут за тобой. Тебя отвезут, и ты все скажешь.

...И опять они втащили его в кузов грузовика, на радиаторе которого заводская марка «ЗИЛ» была закрашена бранным словом. Выхля и скрипя, машина потащилась по запруженным улицам.

Безумие не спадало. Стало только еще шумнее. Над толпой проплывали передвигные громкоговорители, из которых неслись истерические проклятия. Кто-то бросил в него камень. Над глазом вспухла ссадина.

Когда грузовик въехал наконец на площадь, у профессора зареяло в глазах от тысяч одинаковых голов. Трибун не было. Говорили прямо из кузовов. В каждой машине обязательно стоял какой-нибудь

горемыка в шутовском колпаке и с позорной доской на шее. Текст в большинстве случаев был поразительно схожим. На некоторых машинах привезли даже двух, а то и трех «реставраторов» и «черных бандитов». Выли громкоговорители. Качалось пьяное зеленое море. Огоньками безумия горели пунцовые переплеты цитатников.

Профессора подтолкнули к микрофону. Он стоял и молчал. Не знал, о чем должен говорить с этой беснующейся толпой студентов и школьников. Не мог собраться с мыслями, не находил в себе сил сказать первое слово.

Его больно ударили ногой в самый крестец.

— Я очень виноват перед нашим вождем и народом, что поддался уговору...

— Подлой горстки раскольников... — сурово сказал кто-то сзади.

— ...подлой горстки раскольников, которые... которые погибли, как мухи в метель, — пришли вдруг на ум где-то слышанные слова. — Я написал книгу...

Он замолк, не зная, что говорить дальше. Потом вдруг покачнулся и тяжело сполз вниз.

— Провалился в могилу, которую сам себе вырыл своей черной деятельностью, — сказал кто-то веселый и молодой.

«В мое время никогда так не говорили о смерти, — подумал профессор угасающим уголком сознания. — Это называлось лечь в желтый лёсс или отправиться к тем ключам, которые бьют под землей. Никто не говорил грубо и определенно, без древнего поэтического пиетета... Провалился в могилу... Желтый лёсс...»

Чья-то невидимая рука коснулась певучих пластин чжэна³, и тонкий, пронзительный гул поплыл по воздуху. Вместе с этим гулом душа временно оставила бренное тело...

Очнувшись он в огромном гимнастическом зале. Здесь, кроме него, находилось еще несколько избитых и опозоренных людей. Охранники авиационного института не хотели расстаться со своими «черными». Они нужны были для многочисленных митингов и манифестаций. Необходимы для разжигания ненависти. Незаменимы в качестве козлов отпущения, на которых можно излить накипь надрыва, неудовлетворенность, подсознательное смятение и постоянно растущий стресс.

Отрицание всяких традиций — это тоже традиция. Только плохая — плохая и пошлая. Да и нельзя все время витать над бездной. Хочется какой-то опоры, минутной передышки, площадки, с которой можно хотя бы оглядеться.

Поэтому они поставили памятник Чингисхану...

Мир сложен и противоречив. Не было и никогда не будет универсальных рецептов управления. Есть тысячи различных путей. Но как только от созерцания мы переходим к деянию, сами того не ведая, мы выбираем какой-то один путь. Деяния творят пути, а люди творят деяния.

Вот и сейчас они не смогли придумать ничего нового. Разрушение культуры. Путь выбран. И немолчаливая закономерность заставляет их разрушать китайскую семью. Утонченная месть истории...

Он помнит тот день, когда сын, возвратившись из школы, сказал, что преподаватель велел им рассказывать обо всем.

— Как это обо всем? — не сразу понял он.

— Обо всем, что делают и говорят дома, — спокойно сказал сын.

— Но... это значит — шпионить за родителями?

³ Чжэн — старинный китайский музыкальный инструмент.

— Откуда такие слова? — Сын улыбался и глядел куда-то поверх его головы, далеко-далеко. — Идет великая перестройка семьи. Ты разве не знаешь?

Потом закрылись школы. Все школы и все институты. Сын почти не бывал дома. Все время проводил в «штабе». Семью не надо было разрушать. Ее съело отчуждение, как вода — сахар. Как туман — луну. Холодное отчуждение. Без ненависти. Даже без неприязни. Отчуждение.

«Чувства между родственниками могут быть только одни — это классовые чувства пролетариата».

Он стал одной из первых жертв культурной революции. Армейская газета «Цзефанцзюнь бао» писала: «Во Ди-минь в своей книге «Изоляционизм как атрибут политики императоров династии Инь» клеветнически утверждал, что мы опираемся на власть и могущество, допускаем произвол и насилие...».

Во Ди-минь трижды публично каялся. Но какая-то иррациональная машина продолжала цепко держать его, увлекая на все новые круги непонимания и позора.

Он повесил под портретом Мао восемь лент с его изречениями: «Бедность — это хорошо», «Бунт — дело правое», «Страшно подумать о том времени, когда все люди будут богатыми».

Они с женой ночью вывели на тележке за город пятиламповый приемник, зеркальный гардероб и холодильник. «Бедность — это хорошо».

Жена сунула оголенный провод в ванну... Его не было дома. Ее выволокли во двор. Велели стать коленями на поставленные ребром кирпичи. Плевали в лицо. Полосовали кнутами.

И сын стоял среди них.

А жена сунула провод в ванну с горячей водой. Она залезла в воду не раздеваясь... К чему раздеваться?

Оголенный провод в воду — и немоча, туманная немоча воды. Легкий пар над опрокинутым небом в озере Сиху, неподвижные лотосы, залитые молоком камыши. Тихий всплеск зеркальной рыбы. Кваканье лягушек. Спокойствие вод. «Трактат о спокойствии». Утреннее молчание. Провод в воду. Туда, где бьют подземные ключи. И нет никаких тревог. И стыд и боль смывают подземные ключи. Желтый лёсс.

В его книге была ссылка на Конфуция, сказавшего, что каждый правитель должен уподобиться легендарным Яо и Шуню, «мудрым и справедливым, проявляющим неустанную заботу о счастье подданных».

Самую опасную аллегория усмотрели именно здесь. Уполномоченный по культурной революции грозил вырвать язык. Но культурная революция смела уполномоченного. Она возводила людей, а потом пожирала их. Уподобилась судьбе. Путь ее был непостижим, капризы опасны, она вызывала смех, но смех этот переходил в истерику.

Он обвел взглядом товарищей по несчастью. Кто лежал, закрыв голову, кто сидел, неподвижно уставясь в стену. Но каждый — отдельно, никто никому не доверял.

Привычные образы и ассоциации опять завлекли, охватили его. В голодной полудремоте ждал он своего часа. Не волновался и не тосковал. Не вспоминал строки «Трактата о спокойствии».

«Личная жизнь? Это буржуазный пережиток. Типично буржуазное понятие». На все вопросы существовали точные и краткие ответы. Смешно и глупо было сомневаться. Сомнение тоже, конечно, было буржуазное понятие. И если дидактика эта не вела к истине, то тем хуже для истины. Истина — понятие

классовое. Сегодня истина — одно, завтра — другое. И много ли проку в истине? Она беспощадна. Она не скроет развал хозяйства, голод, полунищенское существование. Жить можно только вопреки истине. Совершать большие скачки, перепрыгивать через невозможное.

Распахнулась дверь. Трое очень молодых охранников с трудом подняли чье-то тело с пола. Подталкивая несчастного локтями, пиная его ногами и ожесточенно ругаясь, они покинули физкультурный зал. Дверь снова захлопнулась.

Оранжевый закат поджигает окна. Грустные тени протянулись по изгаженному полу.

Он подумал, что так вот скоро придут за ним и среди охранников, возможно, будет его сын. Но мысль эта не уколола в сердце и не вызвала привычного ощущения обрыва и тошноты в животе. Она показалась пыльной и преходящей, как чахлый умирающий луч, косо падающий из высоких окон.

Он не понимал теперь, чего боялся раньше, чем столь неразумно дорожил. Все куда-то отошло, опустилось, сделалось далеким и чужим.

Какая, в сущности, разница — «сойти в могилу» или «отправиться к подземным ключам»? Глупость, тысячу, десять тысяч раз глупость.

Сын мой — враг мой. Но и в ночи, но и во мраке есть светлая полоса — млечная река в небе. Сгустившийся настой медвяных туманов, утренний пар с росистых лугов, дух сена. Как живые, шевелятся звезды в черных озерах, плачет ночная птица, и сонные губастые рыбы пьют далекий свет.

Хорошо-хорошо, далеко-далеко и тихо-тихо.

Кто пожалует о нем, кто поплачет, кто будет носить траур — белую одежду скорби?

Он вспомнил племянницу — маленькую хохотушку Ли. Пожалуй, она одна в целом свете заплачет, когда он отправится к подземным ключам. Нет... Когда он сойдет в могилу. Когда его убьют. Укокошат!! Когда меня укокошат!!!

Бедняжке не повезло. Огненный дракон культурной революции мимоходом дохнул на нее и испепелил ее душу.

Она жила со старушкой матерью в маленьком городке одной из северных провинций. Жених ее уехал в Пекин делать революцию, устраивать смуту, бить по штабам, захватывать власть.

Она потеряла жениха. Он не умер, не вывалился из поезда, не упал с проломленной головой в схватке с рабочими. Он превратился в железную куклу с чужим голосом.

Смешно и печально. При чем тут любовь? И есть ли она, любовь? Свадьба. Дети. Ограничить рождаемость. Рабочий добровольно сделал себе стерилизацию. Нет! Все это было значительно раньше. Понемногу нарастало, крепло, захватывало.

Как хорошо научилась говорить железная кукла! Точные формулировки, законченные, категоричные утверждения. Круглые и гремящие, как морская галька. Шелестят и грохочут. Ни тени сомнения. Только белое и черное. Утверждение и отрицание. Исчезли обертоны, стигнули оттенки. Земля раскололась на «да» и «нет».

«Любовь — мелкобуржуазный предрассудок, порок капитализма. Любовь — это психопатическое занятие».

Нет ничего вреднее любви. Она мешает работе. Отвлекает от политических задач. Порождает сентиментальность. Разоружает бойцов. Приводит к снисходительности. Естественным следствием ее являются дети. Они непосредственно вытекают из тех нездоровых отношений, которые порождает любовь между мужчиной и женщиной. Любовь — это всегда

мир. Примиренчество. Разоружение. Это агент империализма и ревизионизма. Она подрывает экономику. Ведет к сумятице и голоду. Она одна повинна в демографическом взрыве.

Вот это уж им никогда не удастся! Это плевок в природу. Можно плевать в лицо. На облысевшую голову. Плевать и мазать клеем. Тушью. Краской. Забрасывать нечистотами. Все в воле человеческой. Можно даже землю изгадить. Но природа... Необъятная праматерь. Первопричина всего сущего. Это никогда не удастся. Они беснуются, захмелевшие мальчишки. Неистовствуют. Иллюзия свободной воли! Но страшной будет расплата. Она скрутит их, не даст продохнуть.

Они станут стыдиться самих себя, с тайным ужасом будут любить, изнемогать, осыпая проклятиями неведомого бога. И нигде не скряться, не убежать... Самопреследование. Бессильный бунт. Бешеные слезы одурченных.

Они будут любить задавленно, тайно. И бесчинство и надругательство над природой превратятся в самообман. Он взорвет их изнутри, бросит в смертельную схватку. Бессильные проклятия, глущий стыд и слезы поражения. Нет горше муки, и казни нет страшнее. Каждый станет сам себе палачом. Можно лишить себя жизни. Но нельзя убить любовь. Если любовь — преступление, то горе праведнику. Он сгорит на медленном огне. Он будет грызть камни и кататься в пыли. И он совершит преступление вопреки всему. Любые преграды бессильны, любые клятвы заведомо лживы.

Берегитесь прозрения ослепленных! Холодная старческая рука бросила захмелевшую молодежь на гиблое дело. Жестокое будет похмелье, беспощадное.

Бесконечно жаль этих молодых оголтелых врагов. Не ведают, что творят. Любовь войдет в их штабы и казармы. Смеясь, просочится сквозь каменные стены, проскользнет сквозь колючую проволоку. Ее не коснутся проклятия, не достигнут плевки. Все отлетит назад. Они изгадят самих себя.

Вот начало конца. Еще неистовствует безумие. Еще сотни и тысячи голов падут во имя его. Но суд уже свершился. Расплата грянет. Безумство обреченных.

Сухая старческая рука. Холодные синие вены. Непропливаемый ток застывающей крови. Оцепенение. Отрешенность. Они еще предъявят свой счет. Потребуют ответа за дикий обман, за свои испоганенные жизни. Но как часто могила помогала уйти от суда! Бьющие под землей ключи, смывающие всякую скверну...

Но стыд потомков не смоют и эти ключи. И желтый лёсс от него не укроет.

Пока светит солнце и земля вершит свой путь вокруг него, Ян и Инь⁴ будут стремиться друг к другу. Без их слияния остановился бы весь мир. Потухли звезды. Вселенная сжалась бы в холодный неподвижный комок. Ян и Инь спешат друг другу навстречу. Так было, так есть, и так будет вовеки веков. Он видел, как горели его книги, как «новая культура» взрывала древнюю серебряную пыль. Но горечь разлуки не подвластна огню. Ян и Инь. Между ними всегда стоит горечь разлуки. Вечно стремление назад, и неизменная надежда вернуться.

Провод в ванну с горячей водой. Она ушла, навсегда ушла от меня, но горечь разлуки осталась. Я один, один до скончания дней. Но горечь разлуки всегда со мной.

⁴ Ян и Инь — мужское и женское начало в древне-китайской философии.

Безумье любви, ее святое ослепление, горечь и боль, которые она всегда приносит с собой, они знакомы даже животным. Тигр идет по следам охотника, убившего его тигрицу. Он стонет и плачет, ломая бересклет. И тайга замирает от этой скорби. Лебедь умирает рядом с подругой, которую достала стрела с красным оперением. Соловей пронзает свое крохотное сердце шипом розы. Его последняя песня истекает вместе с последней каплей крови. И ночь содрогается от этого шума. И тигр, собирая в яростные складки усытые щеки, рычит и бьется головой о кедр.

Свет в высоких окнах померк. Люди забылись в тревожном, болезненном сне. Храпели. Снонали от боли. Порой вскрикивали, когда кошмар бдения прокрадывался в сон.

Во Ди-минь уронил голову на грудь, и синий сумрак медленно закружил вокруг него. Квадраты оконных отсеков тихо поплыли по полу. Ему пригрезилось, что он стоит в буддийском Сянь-храме «Прогулук бессмертных». Высокий потолок теряется в синем тумане. Поблескивает лунная бронза бессмертного лица, воплощающего в себе всю созерцательную мудрость и спокойствие Востока. Застывшие в вечной улыбке губы Гаутамы Будды шевельнулись, и Во Ди-минь услышал тихие слова бога-человека:

— Зачем ты пришел сюда вздыхать над несчастной любовью государя Сюань-цзуня и красавицы Ян Гуй-фэй? Разве не в мучении любви ее счастье? Только в преходящем чувствует человек дыхание вечности.

Во Ди-минь упал в омут без сновидений.

Его грубо разбудили и повели на допрос.

...Охранники выплили на него ведро воды. Он медленно поднялся с пола, не в силах унять бившую его дрожь. Мокрая одежда прилипла к телу. Во рту ощущался терпкий металлический привкус. Он ощущал языком кровоточащую десну. Кажется, ему выбили зуб.

— Отведите его назад, — сказал офицер.

Охранники толкнули его к двери. Он потащился, оставляя на полу мокрые, грязные следы. Все еще дрожал. Старался собраться с мыслями. Чуть не упал. Чтобы удержаться на ногах, нужно было думать совсем о другом.

«Трактат о спокойствии». Утренняя прохлада. Бамбуковые рощи. Богдыханы ранних династий. О государь! Сын солнца, Отец зари. Чайная церемония. А жена — провод в воду...

Его ударила молния. Стены накренились. Пол неожиданно встал вертикально.

— Поднимайся, черная собака!

Чего же им от него надо? Почему они все же щадят его? Какой цели добиваются?

Один охранник открыл дверь зала, а другой не очень сильно толкнул Во Ди-миня. За окном занялся новый день.

Сколько времени длился допрос? В китайском часе 40 минут. Во Ди-минь не мог знать, что навлек на себя высочайший гнев. Его книга появилась удивительно не во время. В ней усмотрели опасную аллегория. Он был историком, но выступил провозвестником будущего. Писал о том, что было, и тем самым как бы предостерегал от того, что будет или может быть.

Как ни странно, это-то и охраняло его теперь. В штабе охранников полагали, что Во Ди-минем лично интересуются в высоких кругах. И поскольку никаких указаний оттуда не поступало, никто не хотел взять на себя ответственность за расправу над профессором истории. Конечно, в высоких сферах

меньше всего думали о Во Ди-мине. Игра шла по крупной, а он был лишь жалкой пешкой. И все же никто не мог поручиться за то, что «верхи» в один прекрасный день не заинтересуются автором крамольной книги. Благоразумие подсказывало попридержать его, тем более, что положение с политической не было вполне определенным. Расстановка сил оставалась неясной. Одни дацзыбао противоречили другим. Отдельные, еще вчера ошелюмованные руководители на другой день объявлялись лояльными сторонниками председателя Мао. Уничтожалась партия — только это было ясно.

В штабе не знали, что делать с Во Ди-мином. Его непрерывно вызывали на допросы, умеренно били. Но спрашивающие не знали, какие сведения нужны им от пожилого профессора. Из-за этого они ненавидели его еще больше. Он стал символом той неопределенности, которая потаенно пряталась в них самих. В рядах охранников и смутьянов начались чистки. Из небытия возникали внезапно все-ликие фигуры и, подобно мотылькам-поденкам, столь же внезапно исчезали в небытии.

Бедный народ мой.

Но всей сложности и противоречивости политической обстановки Во Ди-минь не знал. Точнее, он меньше, чем кто-либо знал об этом.

На последнем допросе его совсем не били. Какой-то злобный юнец только схватил его за ворот и притянул к себе. Черные узкие амбразуры глаз с ненавистью остановились на его зрачках.

— У тебя есть только один выход... Удаться. Пойди? Пойди и удайся. Иначе тебя ждет такое...

Два охранника волоком стащили его по лестнице и вышвырнули на улицу.

Он упал лицом в грязь и долго лежал так, следя за ногами прохожих, которые обходили его, не задерживаясь. Потом он попытался встать. Хватаясь пальцами за шершавую стену, кое-как поднялся. Постоял, жадно вдыхая холодный воздух. Медленно побрел прочь.

Он все еще не мог поверить, что его отпустили. Постепенно осознал это. Обдумал и сопоставил все, что знал. Радости он не почувствовал. Понимал, что все равно обречен. Уйти он нигде не мог и не хотел. В огромной стране тоже не мог. Не такое сейчас время, чтобы затеряться. Они всегда могли опять схватить его. Они и отпустили-то его только затем, чтобы он удавился. Приговорили к смерти и сделали его собственным палачом. «Пойди и удайся». Вот и все.

Он брел по грязным улицам, вдоль заборов и обшарпанных стен, заклеенных бесчисленными дацзыбао. Ветер шелестел в бумажной шелухе. Рваные тучи куда-то неслись над крышами домов.

Он забыл, где находится его дом. Долго вспоминал. Потом повернул назад и все так же тихо и обреченно зашаркал ногами. Прохожие обходили его. Некоторые украдкой поглядывали на сгорбленного человека в оборванной одежде, грязной, со следами крови.

Но он не замечал ни прохожих, ни их взглядов. Шел себе и шел. Как будто бы домой, на самом деле, не ведая куда.

Ему показалось, что он не был дома много лет. Все вокруг выглядело чужим и неприветливым. Запустение. Беспорядок. В своем рабочем кабинете он увидел пустые книжные шкафы. Пыльные полки он увидел пустые книжные стекла. Над столом мрачно глядели сквозь грязные стекла: «Ходишь на висела лента с красными иероглифами: «Ходишь на занятия — хорошо, не ходишь — тоже хорошо, однако все должны заниматься культурной революцией».

Видимо, повесил сын. Его сын. Совсем чужой сын.

Он припомнил, что бессмертные слова эти принадлежали Цзян Цин — жене председателя Мао. Он часто слышал их от сына. Тот повторял их, захлебываясь от восторга.

Открыл секретер, в котором хранились древние рукописи. Все было уничтожено, предано огню. Но он не пожалел ни о чем, не огорчился.

Прошел в ванную. Кое-как помылся холодной водой. Переоделся. В кухне нашел кастрюлю с вареной чумизой. Разогрелась не стал. Немного поел. Напился прямо из-под крана.

Никогда и нигде он не чувствовал себя таким бесконечно одиноким, как здесь, в своем доме. Он был полностью отрезан от мира. Старался даже не смотреть на телефон. Когда тот вдруг зазвонил, он испугался и, притаившись, ждал, чтобы неведомый некто повесил трубку. Потом долго колотилось сердце.

О мутное стекло сонно забились мухи. Вспомнилась кампания по борьбе с четырьмя бедствиями. Весь университет тогда бросили на уничтожение мух, комаров, крыс и воробьев. Усмехнулся. Мухи, оказывается, остались... Крысы и комары, наверное, тоже. А вот воробьев пришлось ввозить из Монголии — погибали сады. Природа не подчиняется декретам. Одного желания мало. Нужен трезвый, научный расчет. Впрочем, наука теперь тоже в опале. Интересно, что вреднее: наука или любовь?

Вспыхнули в памяти ненавидящие щелчки: «Пойди и удайся». А так ли уж это страшно? Жена не побоялась. Оголенный провод в ванну — и все. От этой мысли он вздрогнул. Только ведь он мылся в той самой ванной и ни разу не подумал... Он же ни на секунду не забывал. А тут вдруг не подумал, что стоит в той самой ванной.

Из проржавевшего душа громко капала вода. Слово отсчитывала время. Стук капель доводил до сумасшествия. Он прошел в ванную. Попытался ту же закрутить кран. Спустил накопившуюся, чуть ржавую воду.

И ясно увидел, как все это было. Пусть оно случилось без него. Сейчас он совершенно отчетливо представил себе, как жена наливает воду, срывает провод со стены, опускает его... Она даже не сняла одежду! Это почему-то больше всего удивляет его. Он и сам понимает, что смешно было бы раздеваться. Все удивительно нелепо и смешно. Никто вот только не смеется.

Он раскрутил все краны и с интересом стал следить, как ванна наполняется ледяной водой. Белые пенящиеся струи напомнили поездку на моторной лодке. Когда уровень воды в ванне достиг верхнего сливного отверстия, он закрыл краны.

Тот провод так и висел на стене. Как оторвавшаяся лоза винограда. Он провел по нему рукой и брезгливо сдул с ладони серую мягкую пыль.

«Пойди и удайся».

С удивлением поймал себя на том, что уже ничем не дорожит в этой жизни. Все связи оказались разрубленными.

Он отвернулся от провода. Долго стоял, опустив голову. Потом медленно приподнял ее, словно она сделалась непомерно тяжелой. Быстро прошел в кухню. Достал липкий запятанный примус. Отвернул пробку. Темно блеснул керосин. Сладковатый запах. Опрокинул примус на себя. Облил себя керосином. Схватил коробку спичек. Зажал, крепко зажал в руке.

И выбежал на улицу, не захлопнув за собой дверь, на ту безумную улицу.